

Медленно ползут минуты.
Мы в заснеженном окопе
Ждем сигнала, мерзнем люто,
Для атаки злобу копим.
Вьюгой, стужей, минным воем
В феврале богаты ночи...
Путь к победе с каждым боем
Все короче и короче.

М. Соболев.

На „Крымском пятачке“



Ноябрь. Декабрь 1943 года.

На плацдарме под Керчью Отдельная Приморская Армия вела тяжелую борьбу.

Командующий, Военный Совет, штаб с первых дней высадки были вместе с бойцами.

Шли бои за Керчь.

Немцы, захлопнутые на полуострове со стороны Перекопского перешейка войсками 4-го Украинского фронта, отчаянно сопротивлялись.

1944 год.

Сталин приказал: воевать и учиться...

Иногда на переднем крае было тихо, а близ Осовин у пролива гремели выстрелы. Здесь, на полях учебы, осваивали опыт прорыва.

Январь. Февраль. Март. Апрель.

Радостные вести: Ленинград полностью освобожден от блокады, Красная Армия — на границах Румынии и Чехословакии.

До 11 апреля в сводках Совинформбюро ничего не говорилось о борьбе за Керчь.

Здесь текли напряженные будни войны.

Это были будни

Петер гонит поземку. Снег сухой, как песок. Белые буруны расходились по проливу, беснуется море. Сковало грязь на дороге, протянувшейся вдоль берега от причала к причалу. Повозка ковыляет по ней, как на ходулях.

Баржи прижались к берегам. Никого не видно в море. Мечется одиноко наш белый санитарный катерок, приближаясь к берегу. Вот его захлестнуло волной. Потом вновь выныло на гребень.

Идет катерок, бросаясь от волны к волне, как чайка в полете.

Наконец он подобрался к причалу.

— Эй, на пирсе!

— Есть на пирсе!

— Держи концы!

Раненые, кто с подвязанной рукой, кто с забинтованной силовую, потянулись к катеру из госпитальных домиков, приютившихся под скалой. Им помогают всходить на палубу по шатким мосткам.

Что это, ветер или свист снаряда? Свист нарастает. Бак! Столб воды подпрыгнул к небу. Но никто не обращает внимания. Привыкли. Немцы методически обстреливают причалы и берег, на котором в огромные штабели сложены ящики со снарядами, мешки с продовольствием, тюки прессованного сена для лошадей.

Вновь нарастает свист, и еще один столб воды поднимается вверх.

Шофер у причала прогревает мотор. Он потирает красные обветренные ладони, прячет их в перчатки и хлопает туфлями. Он доволен морозом—окрепла дорога. Закончились мученье водителей, не будут больше машины застревать в вязкой непролазной грязи.

Мы сбежали с причала и устраиваемся на машину.

Путь знаком. Столько раз по нему хожено. Всю зиму линия фронта почти не менялась. Бои велись на изматывание врага—за высоты, за траншеи, иногда даже за отведенные окопы, за воронки.

Немцы рыли траншеи—им не давали рыть. Строили проволочные заборы—их разрушали наши артиллеристы, саперы. Немцы подтягивали батареи—их разведывали и подавляли...

* * *

В эти будничные дни войны совершил свой подвиг красноармеец Василий Рыжов.

Круглолицый девятнадцатилетний паренек из таманской станицы, Василий оказался настойчивым и смелым бойцом. Он скоро стал на редкость опытным сапером-разведчиком.



Герой Советского Союза
красноармеец В. Рыжов.

Я видел однажды, с каким вниманием слушали его землянке товарищи. Казалось, он рассказывал забавный случай, и он сам, может быть, не замечал, что многому учился товарищей.

— Подполз я к колючей проволоке,—говорил Рыжов.— Забор обычный, немецкий, густой, репутан весь так, что сам черт не разберется. Такую проволоку резать—морока. Лучшее всего—подложил заряд, и—на воздух! Хотел я под забор нырнуть. Э, стой, говорю. Вижу—ниточки идут от проволоки колючей в разные стороны, как паутина. Связали немцы проволоку с минами, сделали ловушку для саперов. Так я сначала мины обезвредил, а потом проволоку подорвал. На войне старые пословицы на новый лад идут: рта не разевай, не то пуля влетит.

Рыжов отличался тем, что всегда умел перехитрить врага.

Вот Василий лежит в воронке и видит: немцы ночью выдвигаются на линию боевого охранения—метров на двести впереди своих траншей. Но идут как-то странно, густым, точно по бревну, перекинутому через реку.

Как это понять?

Молодой разведчик смекнул: вокруг — минное поле, а для себя немцы оставили узкий проход. И идут по нему. Дерзкая выдумка родилась в голове сапера. Он переполз в другую воронку... Перед рассветом немцы так же гуськом, терпясь, направились к траншее. Этого и ожидал Рыжов, терпеливо, не смыкая глаз. Он приложил к плечу автомат. Короткая очередь — и два солдата, идущих впереди, упали. Остальные залегли, озираясь: откуда стреляют? Рыжов выпустил еще очередь. Фрицам деваться некуда, вокруг их же мины! Они поползли по тропинке, потом вскочили и бегом — к траншее. Тогда Рыжов разрядил весь диск. Только двум из восьми удалось скрыться.

Но Рыжову открыл огонь гранатомёт. Вернее, по воронке, где Рыжова уже не было...

Кто бывал на „крымском пятачке“, кто дрался за Керчь, тот хорошо знает высоту 133,3 — ту самую, у которой на вершине отвесный срез. Около этой высоты долгое время стоял обгоревший танк, и наши наблюдатели и снайперы просиживали в нем целыми днями, выискивая и уничтожая гитлеровцев.

Эту высоту за зиму атаквали несколько раз. Раза два она переходила из рук в руки.

Один из таких дней Рыжов и совершил свой подвиг. Перед штурмом он получил приказ сделать проход в проволочном заграждении немцев.

Настала ночь. Над высотой и над всем передним краем тревожно мерцали ракеты. Кое-где стреляли орудия.

Рыжов полз к немецким позициям с зарядом взрывчатки. У самой проволоки расположилось немецкое боевое охранение. При свете ракеты Рыжов увидел над бруствером немца ствол пулемета. Рикошетом по земле полоснули пули. Над окопом приподнялся немец, потянулся, что-то ~~перемурчал~~. Показался второй немец, оба осмотрелись вокруг, один взялся за пулемет, выпустил очередь. Так немцы стреляли часто — от страха, на всякий случай.

Рыжова это не беспокоило. Но он лежал не дыша и думал о том, где удобнее подложить заряд. И решил: заложить у самого пулемета. Знал отважный сапер, что слева и справа склоны, насквозь простреливаемые немцами. И пехотинцам будет удобнее и безопаснее идти по этой балочке, которую охраняет немецкий пулемет, если сделать проход именно здесь.

Конечно, только здесь: ведь заодно можно взвести на пикап и пулемет“.

Пушки били где-то за высотой.

Хорошо, когда враг тебя не видит! Но вот Рыжов оставил воронку. Проползет ли он этот десяток метров до колючей проволоки с тяжелым зарядом, не выдав себя врагу?

...Немцы не заметили Рыжова. Но, очевидно, шорох встревожил их. Пулемет застучал.

Рыжов отполз и вновь оказался в своей воронке. „Всё равно доберусь и подорву, подорву!“

Он начал подползать стороной, невзирая на пули. Колючки проволоки коснулись спины, Рыжов пробрался под ними. Выждал. Немцы уgomонились и не подавали никаких признаков жизни.

В двух-трех метрах от немецкого пулемета Василий заложил под проволоку заряд. Пальцы работали быстро. Распущен и протянут шнур. Через несколько минут шипящая искорка побежала к заряду.

Взрыв был неожиданным и сильным. Он разорвал на клочья мрак. Рыжов вскочил на ноги: „А ну, что стало там, интересно посмотреть на свою работу!“

Он побежал к тому месту, где взрывом разбросало проволоку вместе с кольями в разные стороны. Проход был не меньше десятка метров. Окоп засыпало. Одного немца, видно, завалило, а изуродованный труп другого выбросило наверх.

„Пулемет цел!“—удивился сапер.

Немцы в траншее на высоте были разбужены взрывом и открыли беспорядочный огонь. Но Рыжов добрался до пулемета, взвалил его на плечи и принес в часть.

— Наш Вася,—говорили бойцы,—что захочет, сделает. Главное: всегда сделает, и живой останется.

Штурм высоты прошел с успехом.

...Так шаг за шагом войска приближались к полной победе в Крыму.

Далеко еще было до весны. Почти без дров (на каменистой почве „крымского пятачка“—ни деревца, а топливо из-за пролива и с окраин Керчи едва успевали подвозить для кухонь), без хорошей воды (во всех колодцах на полуострове вода солоноватая и горькая) зимовали войска. Но в этой обстановке все готовились к решительному удару.

Когда войска шли с мыса Херсонес, полностью очистив Крым, я узнал, что Василию Рыжову присвоено звание Героя Советского Союза. Мы встретились на фронтовой дороге. Вернее, на бывшей фронтовой дороге. Не было уже в Крыму врага.

И поздравил Рыжова. Спросил:

— Что пишут из дому?

— Ох, и пишут,—опередил Василия товарищ,—все девушки со станицы пишут! В особенности—одна.

— Ну тебя!—отмахнулся Рыжов.

* * *

В окопах тогда, когда вьюга свистит всю ночь, тянет и думам о родных и близких. Сидят бойцы, разговаривают медленно, мечтательно. Пишут письма в землянках при свете коптилок, а то и поют не смело, но задумчиво.

Не знаю, кто автор этой песни, но ее часто пели под Керчью в те вьюжные долгие дни:

„В дальний путь меня уносит эшелон,
День и ночь стучит колесами вагон,
И в вагоне фотографию твою
Из походной гимнастерки достаю“.

Может быть, известный поэт ее написал, может быть, боец—и не один. Слова простые, а мотив еще проще. Но не потому ли заставлял он замереть и задуматься?

„...Пятый день идут жестокие бои,
Отстояли мы позиции свои,
Только некогда, родная, мне в бою
Посмотреть на фотографию твою“.

Кто о девушках вспоминал, а кто о семьях своих. Но все связывали эти мысли с одним—с победой.

Песня была грустной. Но неправду говорят, что такая грусть мешает солдату. Нет. Он становится злее, он очень хорошо знает, кто стоит на его пути к счастью: заклятый враг, которого надо уничтожить. Уничтожить ради своей жизни, ради своих родных и близких.

Ради тех, кто был еще за чертою фронта—в Крыму.

Воевали под Керчью бронебойщики—старшие сержанты Григорий Щеглов и Иван Травкин. Оба пожилые, степенные. Оба вспоминали о семьях.

И встретил их в гарнизоне левого фланга, в группе бойцов майора Головатюк. Они обороняли скалистый бугор, и который билось Черное море. Брызги залетали в окопы, когда море было сердито.

Бойцы жили в землянках, связанных ходами сообщения, и все это вместе напоминало город, укрывшийся в землю.

Траншея—улица, переулком попадаешь в дзот, из узкой амбразуры которого видны море и Керчь.

В этот „город“ приходили письма из всех уголков нашей Родины.

Григорию Щеглову—с Урала.

Прочитал он письмо из дома, задумался и сказал:

— Крепко держится немец за Керчь... Крепко...

Керчь была сердцем немецкой обороны. От нее ведут главные дороги в глубь полуострова, в глубь Крыма. Возьми Керчь—и получишь выход в тыл высотам, господствующим над морем южнее города и севернее—над выступом земли, который был в то время занят нами, над „крымским пятачком“.

— Скоро и Керчь станет наша,—ответил Щеглову его товарищ Травкин.—В прошлом году вон где был левый фланг—под Новороссийском! А сейчас там, читал, наверно, завод восстанавливается.

Старшие сержанты Щеглов и Травкин славились, как меткие бронебойщики. Вероятно, степенность помогала: в любой обстановке делали они все без суеты, спокойно.

Внешне они непохожи друг на друга: Щеглов—худощавый, жилистый, Травкин—широколицый, плотный, с мелкими морщинами у глаз. Но характерами сошлись.

Напротив их позиции была у немцев на берегу одна огневая точка. Немцы так завалили этот дзот камнями, что никак не удавалось из противотанкового ружья попасть в амбразуру пулей. И вот Щеглов и Травкин пришли к командиру.

— Разрешите этот дзот все-таки уничтожить,—сказал Щеглов.

— Как?

— Гранатами. Самое верное дело.

— Да,—поспешил поддержать товарища Травкин,—а то как-то нескладно получается. Подумают немцы, что у нас, якобы, слабость...

Командир разрешил. Ночью они оба отправились к дзоту. Пробирались ползком. И уничтожили немецкий пулемет вместе с прислугой.

Рассказывая мне об этом, Щеглов заметил:

— Еще одним пулеметом у немцев меньше.

Из траншеи мне показали осевшую груду камней—там был дзот, метрах в ста от нас. Больше немцы не решались выдвигаться так близко, в нейтральную полосу.

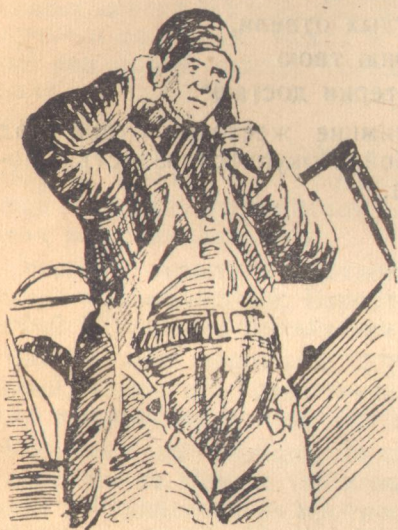
— Какая она нейтральная!—сказал один боец. — Наша она! Снайперы там наши, саперы наши все немецкие мины вытаскивали, разведчики так в ней и живут... Нет ее, нейтральной полосы!

...У песни, которую я слышал зимой в окопах под Керчью, хороший конец:

„Отгремели дни тяжелые, прошли,
После боя нас на отдых отвели,
И тогда я фотографию твою
Из пробитой гимнастерки достаю“.

Но долго еще тянулись зимние жестокие будни под Керчью, пока тяжелый труд бойца окупился радостью победы, которую принесла весна.

Летчик Камозин



Короток зимний день. Ночь быстро сгущалась над проливом, над траншеями, над домиками и блиндажами, разбросанными по „крымскому пятачку“.

Такая ночь—хоть глаза выколи, идешь рядом с человеком, разговариваешь и не видишь его.

Вновь развезло дороги. Да что там—дороги! Вся земля вязкая, липкая, на ногах—не сапоги, а пудовые гири, они утопают в грязи. Кружочки света от бледных лучиков карманных фонарей напрасно шарят по земле в поисках сухого места.

И вот в этой тьме возникает гул, к которому прислушиваются все, а в первую очередь зенитчики. „Везу, везу, везу“,—гудят немецкие „Хейнкели“. Бойцы прозвали их „горбылями“ за изогнутые неуклюжие фюзеляжи.

„Хейнкели“ бомбят, где придется. Каждую ночь слышится их надрывный гул, бомбы свистят пронзительно, тонко, а потом глухой взрыв потрясает землю, и огненные блики взлетают в ночную темноту.

„Хейнкели“ иногда разбрасывали по всему полуострову „хлопушки“. Это маленькие бомбочки, связанные в гирлянды. Они сбрасывались в футляре, который раскрывался в воздухе.

„Хлопушки“ рвутся долго, назойливо, а некоторые из них, падая, врезаются в землю своими крылышками. Их трогать нельзя. „Гирлянды“ немедленно взрываются.

Бойцы научились забрасывать на них крючки или петли на длинных шнурах, затем из укрытия дергали за шнур,

и хлопнушки взрывались. Таким образом каждый день очищались дороги „крымского пятачка“ от ненужных „украшений“. „Хейнкелы“ гудят. На косе Чушка и у крымских причалов испыхивают лучи прожекторов. Открывают стрельбу беспокойные зенитки. Ночью их тахтанье раздается громче, чем днем.

Так до утра...

Было время, когда немцы не только ночью, но и днем не давали покоя. Бомбардировщики приходили группами, бомбили передний край и освобожденные нами поселки — Яксы, Опасную, Маяк, пристани, баржи, беспомощно прижавшиеся к шатким пирсам.

„Мессеры“ нагло появлялись из-за туч и пикировали на катеры и тендеры, спешившие пересечь пролив.

Наглости у врага хватило ненадолго. Наши истребители и штурмовики настойчиво вытесняли немцев с неба над „крымским пятачком“, над проливом, расширяя воздушные границы плацдарма.

Когда схватки разгорались в воздухе, зенитчики прекращали стрельбу. И сколько голов поднималось к небу! Наблюдали из окопов, с артиллерийских позиций, с причалов, как мелькали в воздухе самолеты.

Вот взлетел вверх краснозвездный истребитель, ушел за облака. Потом стрелой ринулся вниз. Атака.

— Горит! — раздался чей-то радостный крик.

„Мессер“ с заунывным воем летел к земле, переваливаясь и дымя. Потом он врзался в землю, выбросив пламя и клубы дыма.

Подбивали и наши самолеты. Я видел, как из горящего „Яка“ выбросился с парашютом летчик. Его подобрала пехотинцы. Молодой светловолосый летчик молчал, только все силился опереться на израненные ноги, когда его вели под руки два бойца. Пилот всей тяжестью тела опустился на плечи пехотинцев и смотрел на них так, будто говорил:

— Вы же видели, хлопцы, как я дрался. До конца. Вон как меня всего изрешетило.

Вскоре истребители наши завоевали полное господство над проливом и прекрасно охраняли переправу. Да и как могли немцы устоять против таких летчиков, как Павел Камозин?

Я говорю — против таких, потому что подобных ему было много.

Герой Советского Союза старший лейтенант Павел Камозин — невысокий человек в унтах и реглане, перехваченном ремнями парашюта, с темными, строгими глазами на

загорелом лице. Он из тех летчиков, про которых говорят: „врос в воздух“. Кажется, как только подожмет его машина шасси, у него расправляются крылья.

Самолет кругами, как птица, уходит ввысь. И вот из-за тучи падает черная точка, она вырастает, в гущу врага летит истребитель.

Это Камозин!

...В январский день четыре „Мессершмитта—109“ вынырнули из-за облаков над проливом.

Низко над морем стелились облака. Никто не ждал воздушного нападения.

Один Камозин в это время парил в высоте.

По всему проливу чернели пузатые тендеры. Катеры, бороздя спокойную воду, тащили за собой медленные, ленивые баржи. Обратным рейсом шел паром, установленный на понтонах, и люди плотно стояли на палубе.

Какой-то кораблик, попавший в пролив из Дона или Кубани, пыхтел на волнах.

Сразу даже никто не увидел „Мессеров“. Никто не увидел, как один, оторвался от четверки и пошел в атаку на баржу, хищником прячась в облаках.

Но Камозин увидел.

Немец не успел перейти в пике. Камозин спикировал раньше, внезапно атаковал „Мессершмитт“ с хвоста и взмыл за облако.

„Мессер“ врезался в воду, и огненный хвост исчез вместе с ним. Это была секунда, но на пароме закричали:

— Худого сбили!

Такую кличку бойцы дали „Мессерам“, и настолько подходящей была она к этим остроклювым хищникам, что прочно вошла в обиход. Даже со станции наведения летчикам сообщало радио:

— Над Баксами „худые“, над Баксами пара „худых“!..

...Но что было дальше над проливом?

Камозин, сбив одного „Мессера“, ринулся на тройку остальных. Вот он у хвоста немецкого самолета. Выстрел из пушки—и „Мессер“ дымит, пытаясь уйти, сбить пламя, но напрасно. Он падает в пролив как-то боком. Рассек волну крылом и сгинул.

Как тяжела эта победа в воздухе! Расчет точен: поймать немца врасплох, не дать ему изготoвиться к бою. Выстрел—в цель на десятой доле секунды, когда хвост „худого“, меченого крестами, мелькнет перед глазами. Соколиная дерзость: он один, их четыре.

Камозин нападал. Он использовал облака. Лучше, чем умели использовать их немцы. Сбив второй „Мессершмитт“, Камозин поднялся вверх, промелькнул, как молния, над проливом и поджег третий немецкий самолет.

На пароме крикнули:

— Эх ты, здорово как!

— На руле! Зазевался, в сваю врежешься.

— Не врежусь!—ответил рулевой.—Ты гляди, что делает!

Камозин атаковал четвертого „Мессера“. Пулеметная очередь простучала близко. „Мессершмитт—109“ сверкнул тонким, как у щуки, телом на синей полоске неба и метнулся к облаку. Оба самолета ушли в высоту.

Потом они показались вновь. Камозин был ниже. Его истребитель падал камнем к морю. „Мессер“ перешел в пике.

На пароме стало тихо.

В какой-то неуловимый миг Камозин вывернулся из-под „Мессера“, пронесся над волнами, на которых трепетали белые гребешки, и скрылся за сопкой на Тамани.

„Мессер“, не успев выйти из пике, врезался в воду с таким шумом, словно разбился о камни.

Так дрался Камозин, бесстрашный и неуловимый.

День шел за днем.

Часто голос станции наведения звенел в эфире:

— Камозин, слева „худые“! „Худые“ слева!

— Вижу!—отвечал Камозин.

И радисты перехватывали крики немцев:

— Ахтунг—Камозин!

— Внимание—Камозин!

Немцы испытали удары Камозина в небе над Кавказом, Таманью, Крымом и хорошо знали его. Они боялись Камозина.

...Как-то вечером на таманской дороге по пути в редакцию я встретил нашего фотокорреспондента.

— Откуда?—спросил я.

Он ответил:

— С аэродрома. Фотографировал Героя Советского Союза Камозина. Он сбил сегодня тридцать третий самолет.

Подвиг Павла Костенко

— Как в Керчи?

Этот вопрос задавали всем, кто возвращался с „крымского пятачка“ на берег Тамани. По утрам, а иногда и ночью, сюда доносился громкий гул канонады. Знали, что бои шли за Булганак или за высоты на правом фланге, что туда высадился десантом гвардейский полк Героя Советского Союза Главацкого, и все-таки спрашивали:

— Как дела в Керчи? Вот вцепился немец в нее!

...Шли бои на правом фланге, где гвардейские полки и морская пехота штурмовали немецкие позиции, чтобы соединиться с десантниками Главацкого, которые высадились в тыл врагу с Азовского моря.

Я сидел в низком блиндаже и при свете копилки читал листки короткого политдонесения из бригады морской пехоты за 11 января 1944 года: „Главстаршина Павел Костенко на высоте 164,1 повторил легендарный подвиг Александра Магросова, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота“.

По тропинке, увязая в грязи, с холма на холм я пошел в бригаду морской пехоты к высоте 164,1, разыскав на карте ее отметку, затерявшуюся среди зигзагов горизонталей и коричневых пятен сопок. Сердитый ветер дул с бушующего моря.

Я думал о том, что, когда люди будут изучать историю Великой Отечественной войны нашего времени, они назовут Москву, Ленинград, Одессу, Севастополь и Сталинград.

Но вспомнит ли кто высоту 164,1? Ее должны вспомнить. Здесь, на высоте, отмеченной в картах цифрой 164,1, не щадили жизни советские бойцы, сыны Родины.

Здесь рождалось их бессмертие.

На высоте 164,1 погиб главстаршина Павел Костенко.

Товарищи его рассказали мне, как это было.

Морская пехота штурмовала высоту. Рота, в которой служил Костенко, получила приказ взять один дзот на высоте.

Дзот был большой и угрюмо чернел на скате, словно гриб-паразит с шапкой, прилипшей к мерзлой земле.

В дзоте был пулемет. И немцы. Неистовым огнем они встретили атакующих и отбросили их.

Еще раз—вперед!

Главстаршина Павел Костенко—парторг роты—первым поднялся в атаку, после того, как наши пушки коротким залетом снарядов накрыли огневую точку. Снаряды издолбили шапку дзота, курчавые дымки обложили его. Но дзот был жив.

Немецкий пулемет стучал и стучал все громче. Пули беспощадно осыпали голый, твердый скат высоты.

Костенко, рванувшись вперед, упал на землю. Неужели и эта атака захлебнется?

Бойцы начали расползаться по скату, кто в воронку, кто за бугорок. Костенко услышал сдавленный стон, кто-то был ранен.

...Далеко до дома, очень далеко от этой крымской высоты 164,1. Но нет другого пути ни к дому, ни к жизни—только через нее, через эту высоту, с вершины которой видны бескрайние пасмурные воды Азовского моря.

Сколько бойцов прижалось к земле! Ледяной, неудобной была она, но как она согревала, какой она была дорогой защитой! Только бы не отрываться от нее, и пусть пули уходят мимо, ударяясь о камни и откалывая от них мелкие, острые кусочки.

Костенко был ближе всех к немецкому дзоту. Он подтянул к себе автомат, прижатый к боку. Прицелился и дал длинную очередь по амбразуре дзота.

Но пулемет продолжал стрелять.

Павел дышал все чаще. Злоба росла в нем.

Костенко был кавалером ордена Славы III степени—опытный воин. Он хотел испробовать все. С трудом подбравшись ближе к дзоту, он бросил в него гранату. Осколки провизжали над ним.

Но пулемет стрелял, а приказ требовал взять дзот. Он—Павел Костенко—парторг роты. Бойцы сейчас смотрят на него. В этот миг родился подвиг, хотя и не был еще совершен.

Костенко вскочил. Шепнул ли он „прощайте“, в последний раз подумав о Родине, которую любил больше всего на свете. Или сказал: „Я знаю, ты не забудешь меня!“

Он ринулся к амбразуре дзота и закрыл ее своим телом. Глухая очередь. Пули врезались ему в грудь, но Павел даже не вздрогнул, только ветер шевельнул полой его шинели.

С невероятной яростью поднялись в атаку бойцы, даже раненые врывались в траншею врага, добывая его своим грозным оружием.

Так был взят немецкий дзот на высоте 164,1. За него ли отдал жизнь Павел Костенко? Нет.

За то, чтобы Красная Армия пришла в Берлин, в Германию. За то, чтобы навсегда был уничтожен фашистский разбой. За счастье всех наших потомков, наших детей.

Я вспомнил стихи Твардовского:

«...И в одной бессмертной книге

Будут все навек равны—

Кто за город пал великий,

Что один у всей страны,

Кто за гордую твердыню,

Что у Волги у реки;

Кто за тот, забытый ныне.

Населенный пункт Борки...

И Россия—мать родная—

Почетъ всем отдаст сполна.

Бой иной, пора иная—

Жизнь одна и смерть одна».

...В узкую траншею на крымской высоте принесли тело героя. Сняв шапки, стояли над ним бойцы. И никто не думал о смерти, потому что выше смерти было величие подвига, совершенного их товарищем главстаршиной Павлом Костенко.

Они поклялись отомстить за него врагу.

Штурм

В конце января начался штурм Керчи.

...Поздним вечером в порту кордона Ильич, на Тамани, батальон морской пехоты рассаживался на грузные, неповоротливые тендеры и на быстрые, как чайки, катеры, которые подняли к небу пулеметы-клювы.

— Куда?

— В Керчь!

Морячок, как все десантники, перебитый пулеметными лентами, перебирал тугие, послушные струны спутницы своей—гитары.

В предвечерней густеющей мгле тихо звучала песня:

„Живет моя отрада...“

— Как вы думаете, товарищ майор,—спросил хлопотавший на корме рулевой командира батальона Старшинова, как будто майор должен знать все точно,—будет луна?

Луна!.. Не скучали, не вздыхали разве о ней моряки? А теперь никто не хочет, чтобы она появилась. Луна—предатель десантников. Когда она выкатывается из-за тучи, и черные контуры кораблей вырастают над водой, как тени, как ее только не проклинали, эту луну, и некуда от нее деться!

— Уж так ругаем, кажется,—сказал один моряк,—что от стыда взяла бы да закатилась...

Майор посмотрел на небо:

— Нет, не будет луны.

Небо в рыхлых облаках. Нигде не видно на воде серебристой дорожки. И все-таки кое-кто говорил: как бы луна не появилась.

Тонко звенели струны в темноте. Моряк пел:

„...Никто не остановит

В дороге молодца“.

...Я помню январское утро, в которое мы с трудом по грязной дороге через железнодорожную насыпь выбрались на окраину Керчи.

Вся она была изрыта зигзагами траншей. Наша артиллерия и гвардейские минометы—„Катюши“ неожиданным и

разрушительным ударом подготовили прорыв переднего края обороны врага.

Разбросаны перекрытия блиндажей, бревна стоят торчком. Их переплели куски колючей проволоки. Через траншею перекинут мост.

— Видно, здесь артиллеристы уже прокатили пушки?

— Конечно.

Грохот доносился из-за нагромождения развалин, откуда-то из глубины города.

В траншее мы увидели несколько трупов немцев, не тронутых ни осколками, ни пулями. Они сидели у стен траншей, запрокинув головы. Кровь, вытекшая из поздрав и ушей, засохла на грязных лицах.

— Это от грохота, славная была подготовочка!

Бой шел в городе. На освобожденных улицах было пустынно. Где жители Керчи? Те, что скрывались в катакомбах Аджи-Мушкая, еще не могли вернуться к своим жилищам.

А страшный Багеров ров, где мертвые дети лежали в объятиях мертвых матерей? Семь тысяч людей, расстрелянных немцами в 1941 году и найденных в этом рву, были жителями Керчи. Они никогда в нее не вернутся.

Всюду развалины, ни одного целого дома—с крышей, окнами, крыльцом, дверями. Немцы разрушили и опустошили Керчь, которая тысячи лет стояла на берегу пролива.

Как разрослась Керчь под ясным советским солнцем! Керченский гигант-завод давал Родине полмиллиона тонн металла в год. Недра каменистого полуострова хранят богатейшие запасы руды.

И вот пришли варвары, превратили город в руины... Но уже тогда, в боях, мы знали, что Керчь будет возрождена.

...Немцы почти во всех домах Керчи расставили пулеметы. На улицах были позиции батарей. Штурмовать такой город значило—вслед за гранатами врываться в окна зданий, заскакивать в проломы стен с решимостью вцепиться в горло каждого немца, который попадет под руку.

И вот дома Керчи, изрытые пулями, как оспой, трупы немцев на порогах, трупы немцев в комнатах, в коридорах, в кухнях. Трупы немцев на улице Ленина, на улице Кирова...

На набережной, над двумя домами Керчи реяли наши флаги—морской, с голубой полоской и звездой, и красный, установленный рукой пехотинца.

Здесь соединились красноармейцы, прорвавшие оборону немцев под городом, и десантники-моряки майора Старшинова. В разгаре боя пришла весть о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Его бойцы отличились при взятии Новороссийска. Теперь они штурмовали Керчь.

...Алексей Нестеренко, старший краснофлотец, лежал за слепком камней, вывернутым снарядом из какого-то дома и отброшенным на мостовую. Широкоплечий, рослый, он с трудом помещался за своим случайным укрытием.

Глаза Алексея смотрели вперед, на дзот у перекрестка улиц, еще занятых немцами. Черная амбразура приковала взгляд Алексея.

Кровь горела в висках. Не прошло еще возбуждение от боя, который краснофлотцы только что провели на берегу. Там Алексей Нестеренко убил двух немцев в траншее. Потом, тяжело дыша, он бежал по улице и не видел, но знал, что где-то близко должен быть его друг краснофлотец Король. Снаряды с протяжным шелестом перелетали улицы и рвались то рядом, то далеко, глухо.

Нестеренко считал, что раз он и Король попали на эту улицу, то на них лежит ответственность за то, чтобы здесь не уцелел ни один немец, чтобы вот это обгоревшее здание с черными окнами без рам и белый домик с виньетками, у входа в который валялась кровать, вновь стали нашими, чтобы сюда вернулись советские люди и жизнь.

...„Где же Король, в конце концов?“ — подумал Нестеренко, не отрывая глаз от амбразуры. — „Ах, вот он“. Он кричит с другой стороны улицы:

— Алеша!

Король успел вскочить в подъезд серого здания, исклеванного снарядами. Значит, он видит своего друга, они вместе.

За домами слышны автоматные очереди: наши идут вперед. А эта вражеская пулеметная точка преградила путь. Нет, он может... он сможет уничтожить дзот!

Алексей вставил запал в гранату и пополз к черной амбразуре. Казалось, все окна обернули к нему пустые глазницы. Из одного окна, затаив дыхание, следил за другом краснофлотец Король.

Нестеренко полз к дзоту по булыжникам, потому что не было другого пути, а он хотел во что бы то ни стало уничтожить пулеметную точку врага. Король стал стрелять из автомата по амбразуре.

Когда Алексей вскочил перед дзотом, рядом с визгом разорвалась немецкая мина. Нестеренко покачулся, но успел бросить гранату в дверь дзота.

— Алеша!—тревожно спросил Король, подбежав к товарищу.—Ты ранен?

— Это ничего,—ответил Нестеренко.—Сделал?..

Два немца лежали в траншее. Трое вылезли из дзота с поднятыми руками.

На улице стало тихо.

— Наша улица!—сказал Нестеренко.

— Наша...

Он подумал о людях, которые вернутся сюда. Керчане показались Алексею особенно родными и близкими, оттого что он, Нестеренко, со своим товарищем изгнал отсюда врага, навсегда.

Это чувство испытывали все бойцы. Это чувство испытывал человек, шагавший по городу с окровавленной повязкой на глазах. Я увидел его—старшего лейтенанта Пролетарского, раненного в оба глаза, уже на окраине Керчи. Боец вел его в медсанбат.

Старший лейтенант шел молча, и боец старательно обводил его вокруг воронок и камней. Вдруг офицер остановился и спросил:

— Далеко еще?

— Далеко, товарищ старший лейтенант,—сокрушенно ответил боец и подумал: ведь мы так медленно идем!

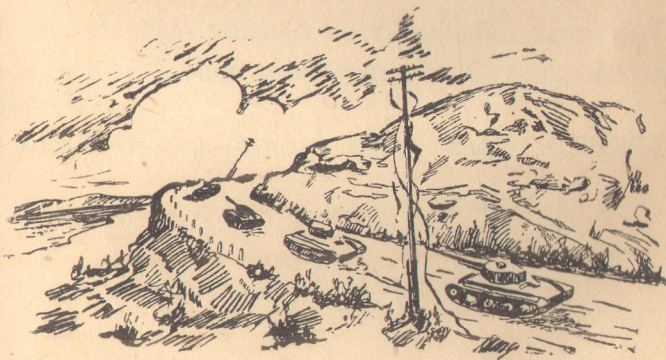
Но лицо старшего лейтенанта озарилось неожиданно светлой улыбкой.

— Хорошо,—сказал он,—значит, много мы отбили уже у немцев!

Так наступают армии прорыва
Потоком стали, мести и свинца...
И видит мир, как светел штык бойца,
Как русская граната справедлива,
Убийцу добывая до конца!

С. КИРСАНОВ.

От Керчи до мыса Херсонес



МОСКВА САЛЮТУЕТ

войскам Отдельной Приморской Армии, перешедшим в наступление—

11 апреля 1944 года—в честь освобождения КЕРЧИ,

13 апреля 1944 года—в честь освобождения ФЕОДОСИИ,

16 апреля 1944 года—в честь освобождения ЯЛТЫ,

войскам 4 Украинского фронта и Отдельной Приморской Армии—

9 мая 1944 года—в честь освобождения СЕВАСТОПОЛЯ.

МОСКВА СЕПТЕМЬ
Война Отечественной войны
11 апреля 1941 года - в битве за Смоленск
15 апреля 1941 года - в битве за Смоленск
16 апреля 1941 года - в битве за Смоленск
Война за Удмуртский фронт - Отечественной войны
1 мая 1944 года - в битве за освобождение Ленинграда

11 апреля

Ночью 10 апреля я был на площадке аэродрома ночных бомбардировщиков. Здесь находился полк, которым командовала гвардии майор Бершанская. Девушки-летчицы всю зиму летали бомбить позиции немцев в Керчи и на полуострове. Стужа и бураны не останавливали летчиц. Они были всегда веселыми и этим поддерживали себя и друг друга, потому что тяжела и опасна работа „ночника“. Во тьме самолеты после разгрузки в Крыму садились на свою площадку, над которой пролетал порывистый ветер с моря, пенил воды таманских лиманов и уносился за невидимые сопки.

Девушки вылезали из кабин, снимали мохнатые перчатки, обтирали щеки руками, ожидая, пока техники подвезут новые бомбы. Гвардии майор Бершанская принимала доклады и при свете электрического фонарика над развернутым планшетом давала задания пилотам, вглядываясь в карту полуострова.

Здесь всю ночь кипела напряженная боевая жизнь. И лишь на рассвете в маленьких домиках, выщербленных соленым ветром, усталые летчицы засыпали, как убитые. На аэродроме у какого-нибудь бомбардировщика работали только техники. Легкие боевые машины стояли огромным полуколышом на ровном степном просторе. Подпрыгивая, катились через него шары сухой травы перекаати-поле.

Ночь десятого апреля началась обычно, хотя настроение было приподнято у всех. Все знали, что 4-й Украинский фронт прорвал оборону немцев на Перекопе, что Красная Армия освободила Одессу. Это сообщение получили по радио перед вылетом первого самолета.

Звезды, сколько звезд сегодня на небе! Просто кажется что звездный снег испугался теплой апрельской земли и остановился в прозрачной высоте.

Но вот вдаль отделились от звезд два огонька. Они приближались к нам со стороны Керченского полуострова. Красный и зеленый светлячки. Это первый „ночник“ возвращается из Крыма.

Ночь светлая. На аэродроме не включают прожекторов, только вспыхивают посадочные знаки, и где-то в стороне гуляет по небу луч прожектора-маяка.

Все ближе ровное тарахтенье мотора. Неожиданно самолет появляется из мрака, легко, как птица, опускаясь на прямых крыльях. Мотор глохнет. Самолет еще катится по траве, а из кабины уже слышен голос летчицы:

— Бомбы!

Это прилетели гвардии лейтенант Худякова и ее славный штурман гвардии лейтенант Пасько, ныне Герой Советского Союза. Она совершила свой 691-й ночной боевой вылет.

Худякова подходит к командиру полка. Докладывает:

— Бомбы сброшены хорошо, разрывы наблюдала сама. Сильный зенитный огонь.

Затем указывает по карте, откуда бьют зенитки немцев и вдруг улыбается, сузив глаза:

— Товарищ гвардии майор! Радость какая, сказать боюсь! Ведь, кажется, побежали фрицы. Наша артиллерия работает, и много ракет дают за передним краем.

Ракетами пехотинцы указывали цели „ночникам“ и обозначали себя. Пилот второго самолета сообщает весть еще более радостную:

— Наши атакуют Керчь!

Третий самолет торопливо садится на дорожку аэродрома.

— Наши за Керчью!

Бершанская была подготовлена к этому. Она связывается со штабом, получает новые задачи. Ее воля чувствуется в каждом движении людей.

— А как, товарищ метеобог, будем ли мы летать всю ночь?

С севера на небо наползает туча. Но „метеобог“—молодой сержант-метеоролог отвечает:

— Будем!

— Конечно, будем!—улыбается Худякова.

В эту ночь она сделала на три боевых вылета больше, чем ее подруги. Я узнал об этом на следующий день. „У—2“ поднял меня в воздух с аэродрома на Тамани, куда я больше не возвращался.

Первый раз на Керченском полуострове мы приземлились спокойно.

* * *

Керчь освобождена от немцев. Саперы с длинными шупами и миноискателями расползлись, как муравьи, по ее развалинам. И на остатках стен появились надписи: „Мин нет. Проверено. Исаев“. По разбитому булыжнику лошади тащут гаубицу и пугливо косятся на воронки. Моряки осматривают знакомые места.

Вместе с войсками в Керчь возвращается жизнь. Вот первые керчане спешат к своим очагам. Бойцы, выдавшие виды, и те покачивают головами: камня на камне нет.

А керчане, смеясь и плача от радости, говорят:

— Ничего, все построим!

Нет ничего сладостней возвращения. Идут керчане, останавливаются, чтобы перевести дыхание, и снова толкают тачки с вещами. Каждый дом—родной. Пусть разрушено, но родное—каждое место. Идут керчане мимо разбитых витрин, мимо школы-новостройки, в которой зашумит детвора. Как приятно об этом думать. В первую очередь жизнь им—детям. Дети—будущее наше.

...Улицы Керчи заполнены войсками. Ведут пленных. Они в ужасе таращат глаза: откуда столько танков, столько техники?

Тесно было войскам и технике на „крымском пятачке“. Танки были зарыты в землю на высотах в нескольких ярусах. Крепко готовились десантники к наступлению.

И вот оно началось.

* * *

На холмистой равнине Керченского полуострова сгруппировались хаты Новоселовки.

Когда рядовой Андрей Прохоров узнал, что вот эти хаты, между которыми несколько чахлах деревьев едва начали зеленеть, и есть Новоселовка, сердце его забилось чаще.

Вспомнил Андрей гвардии лейтенанта Черненко, своего погибшего командира. Почти год они воевали вместе и как-то даже жили в одной землянке.

Гвардии лейтенант Черненко был ранен при высадке десанта в Керчь. Пуля попала ему в грудь, и лейтенант, резко вздохнув, схватился рукой за рану и упал. К нему подбежал Андрей, подложил руку под спину командира, хотел приподнять. Но лейтенант, открыв глаза, успел только прошептать:

— Ты ко мне домой зайди, Прохоров. Обязательно. Слышишь? В Новоселовку...

— Слышу,—сказал Андрей.

У лейтенанта Черненко в Новоселовке были мать и сестра. Не раз он вспоминал о них при бойцах, говорил Андрею Прохорову.

После смерти лейтенанта Андрей воевал с думой о Новоселовке.

Во взвод прибыл боец—высокий, немного нескладный, с узловатыми крестьянскими руками—Иван Рябин. Он был кубанец, воевал на севере, а после ранения попал в Крым.

— Не везет мне с участками,—пожаловался он Прохорову.—Вот опять досталось брать Керчь. Другие идут по степу, а тут сопки да камни. Самое тяжелое дело.

Тогда Андрей рассказал ему о Черненко. У Рябина сын сражался на фронте. Выслушав рассказ Андрея, он долго курил крепкий табак, потом сказал:

— Жаль лейтенанта, а в Новоселовку непременно зайдем.

В ночь на 11 апреля оба бойца были обрадованы приказом о наступлении. После короткого удара артиллерии, пехота кинулась к немецким траншеям. Прохоров и Рябин вместе ворвались на позиции немцев. Рябин неистово стрелял из автомата.

Просвистела немецкая мина. Потом мины начали рваться чаще и чаще. Рябина контузило осколком, который попал в каску, но скоро он пришел в себя, снял каску, поглядел на вмятину. Встал.

— Это, брат, чепуха. Воевать еще можно!

Прохоров и Рябин вскочили на танк, и немецкие траншеи остались позади. В одном месте пришлось прыгнуть с танка, Рябин бросал гранаты в немецкий окоп прямо через колючую проволоку. Снова рядом с треском разорвалась мина. Рябина ранило в голову, и он закрыл глаза от боли.

К нему подбежала маленькая светловолосая санитарка. И, увидев на глазах бойца слезы, испуганно спросила:

— Что ты?—Она никак не могла понять, почему этот большой человек плачет...

— Как же,—сказал Рябин,—горе какое! Эх, сестрица, сколько ждал-воевал, а тут ранило в самое время, когда вперед идти.

— И от этого горько? Так ведь пошли же наши вперед. Пошли,—говорила она, забинтовывая голову Рябина. И солдату стало легче.

... А Прохоров остался в бою и вот смотрел теперь на хаты Новоселовки.

Немцы из деревни бежали. Через пригорок проскочил наш танк, дохнув горячими парами бензина и пылью. Прохоров хотел вскочить на танк, как он сделал это на рассвете, когда брали Керчь, но удержался.

Он сбежал с пригорка к первой хате. Дверь распахнулась. Женщина в рваной косынке выскочила навстречу, кинулась к бойцу:

— Миленькие! Родненькие наши, пришли!

Андрей Прохоров—молодой боец. Он почувствовал себя неловко. Растроганно, стараясь говорить баском, произнес:

— Здравствуйте! Тут немцев не осталось ли где?

— Да нет. Где им тут! Кто повтикал, а кого побили. Хоть бы их больше глаза не видели.

— Не увидят больше, нет!—улыбнулся Андрей. И спросил:

— А где тут Черненки живут?

Женщина, услышав эту фамилию, закусил уголок косынки и покачала головой. Глаза ее наполнились слезами и все лицо как-то сморщилось.

— Нема их!—сказала она.—Угнали немцы. И мать и дочку.

— Вот как,—вздыхнул Андрей и задумался.

— Может быть, тут девушка есть какая, что знала лейтенанта?—спросил он женщину.

— Миленький!—ответила она.—У нас девушек зовсим нема, ни одной не осталось. Угнали всех чисто немцы...

И не выдержала вдруг, зарыдала.

Потом позвала бойца в хату, но Прохоров резко отвернулся и побежал к пыльной дороге, где шли бойцы его взвода, мчались тавки, тракторы, лязгая гусеницами, тянули тяжелые пушки.

В обочной канаве валялись три немца, раздавленных танком. Рядом лежала на боку немецкая пушка с согнутым щитом. Прохоров спешил. Бесконечные колонны пленных тянулись ему навстречу. И глядя на все это, Прохоров прошептал:

— Так им и надо!

По Южному берегу

Из дневника

16 апреля. Я никогда не забуду Ялты-красавицы, цветущей, как сад. Город заполнен народом, ликует, шумит. По крутой Аутской улице торопливо идут к домику Антона Павловича Чехова. И неожиданно вижу белый листок, маленький белый листок в черной траурной рамке:

„17 апреля в Ялте состоятся похороны подполковника Малышева, павшего геройской смертью в боях за освобождение советского Крыма от немецких захватчиков“.

Малышев! Вчера я встречался с ним.

* * *

Читая в светлый день освобождения Ялты черные строчки траурного листка, я вспомнил его—невысокого, скромного человека в кожаной куртке, командира танкового полка, которого все любили за душевность и храбрость.

Мы сидели в Алуште на крылечке домика, затерявшегося в тесных улицах. Был вечер. Подполковник Малышев ужинал, расстелив на коленях газету. Он спешил, привал был короткий. Но все же подполковник хотел, чтобы я побольше узнал о его танкистах. Он рассказывал, а я списывал листки блокнота, над которым ординарец подполковника держал капризничавший карбидовый фонарь.

Танки—гроза врага. Танки—наша гордость. Не раз будут вспоминать жители Феодосии, Судака и Ялты запыленных танкистов, которые промчались на своих грозных машинах по Южному берегу первыми вестниками свободы.

Танки начали преследовать врага сразу же, как только была пробита брешь в немецкой обороне под Керчью. Экипажи точно выполняли приказ подполковника Малышева:

— Не останавливаться! Рассекать части врага, не давать им собираться. Вперед и вперед!

Мастерство танкистов—быстрота и маневр. Танкисты подполковника Малышева показали, как стремительно и внезапно могут они появляться и нападать. Близ селения Султановка я видел у дороги орудия, брошенные немцами. Рядом стояли грязные грузовики со снарядами и военным имуществом.

В Султановке—несколько самоходных немецких пушек, огромные склады с боеприпасами, продовольствием, горючим. Танковые роты капитана Белова и старшего лейтенанта Шаповалова обошли Султановку, заставив бежать врага.

Это маневр.

А быстрота, с какой танки шли вперед?..

Из дневника

12 апреля. Вторая ночь наступления. Я еду в машине, которая везет горючее танкистам. В кабине жарко, дьявольски хочется спать.

— К рассвету догоним!—говорит водитель.

Он думает о танкистах.

— Небось, на Ак-Монае большой будет бой,—продолжает он. В сорок втором я туда снаряды возил. Позиции там серьезные, это известно.

Даже к полудню мы не догнали танков. Они прошли уже Ак-Монай.

* * *

Немцы рассчитывали задержаться на Ак-Монайских позициях не один день. Но никакие препятствия не остановили стремительного наступления наших танков. Пленный немецкий обер-ефрейтор из прислуги самоходной пушки, подошедшей вместе с другими орудиями к Ак-Монаю, дрожа и запинаясь, бормотал:

— Эти разбитые орудия... наши самоходные пушки. Нас вызвали сюда, чтобы остановить русских. Капитан Кунц пошел в блиндаж получать приказ. Солдаты разошлись. В это время показались русские танки.

...Вокруг разбитых самоходных орудий немцев—десятка два трупов. Гитлеровцы были убиты осколками наших снарядов, пулями танкистов, раздавлены гусеницами. Экипажи немецких орудий не успели подбежать к своим пушкам и открыть огонь. Они не ждали наших танков, и лежат их трупы в порыжевшем бурьяне.

Вот что рассказал мне подполковник Малышев о быстроте.

За Ак-Монаем—Феодосия... Стояла безветренная погода, и дым тянулся черными клубами в высокое небо. Яркое красное пламя пожирало санаторные дома на берегу, размахивая из окон хвостами копоти.

И все же множество домов и дач с красивыми балконами и верандами остались целыми. Немцы не успели сделать всей своей гнусной работы. Не успели потому, что

танки наши выполняли приказ: не останавливаться! Никто не говорил об усталости. Никто не думал о сне. Ничто не могло остановить наших бойцов.

На центральной улице Феодосии два танкиста сорвали плакат, изображавший немецкого солдата на фоне карты Крыма, пересеченной надписью: „Неприступная крепость“.

— Видал?—сказал один.—А теперь они кричать будут, что в Крыму вовсе обороны не было.

— Эх,—сказал другой,—есть тебе охота такую дрянь в руках держать!

И „неприступную крепость“ с коричневой рожей немца порвали.

...В Феодосии среди развалин, по заросшей тропе, я пробрался к памятнику Айвазовскому. Гордо поднята голова художника. Вокруг—много травы и разросшийся куст. Зеленень почти скрыла надпись на памятнике: „Феодосия—Айвазовскому“.

Художник держит в руках палитру и кисти. Взгляд его устремлен на море. Это он воспел буйную силу волн, разъяренных до пены, в знаменитой картине „Девятый вал“.

Теперь кажется, что он поднял кисть, чтобы запечатлеть победную поступь воинов Красной Армии, столь же грозной для врага, как девятый вал. Она освободила город Айвазовского. Она вернула жизнь прекрасным полотнам художника.

С какой радостью встречали жители родных бойцов! Город перенес так много страданий за годы немецкого хозяйничанья в Крыму.

В центре я увидел дом, обнесенный колючей проволокой. Здесь был лагерь так называемых окопных рабочих—молодых девушек из Феодосии и ближних сел.

В этом лагере была девушка Валя Салказина. Она отказалась выходить на работу. Тогда ее отправили в симферопольскую тюрьму.

Седая мать Вали пешком пошла за своей единственной дочерью. Она вымолила у немца-часового согласие устроить свидание.

Немец был маленький и толстый, свинячьи глазки его забегали по скорбной фигуре русской матери. Он коряво сказал:

— Гут, matka. Карош! Золото, matka.

Мать сняла с морщинистого пальца обручальное, столько лет ношеное кольцо. Немец спрятал его в карман и пустил женщину в ворота. За тюремной стеной Салказина нашла труп своей дочери.

Если есть у этого немца мать, хотелось бы подвести ее к трупу ее выродка.

...На углу улицы Ленина стоял старик. Час, второй он не двигался с места. Он смотрел на проходившие войска и, опираясь костлявыми руками на суковатую палку, думал о том, что эти бойцы непременно придут в Германию и освободят из немецкой неволи его внучку Таню.

Так шло возмездие. Катился девятый вал.

Из дневника

13 апреля. Вместе с фотокорреспондентом Ксенофонтовым в каком-то маленьком селе под Судакom слушаем, как гремят залпы московского салюта в честь освобождения Феодосии. Рация генерал-майора Горбачева, командира дивизии, которая упоминается в приказе, старательно удерживает московскую волну.

Эти минуты—лучший отдых для бойцов и командиров, собравшихся вокруг рации. Все рвется вперед. Николай Ксенофонтов вслух прочел стихи Михалкова:

— Ты помнишь, товарищ, сады Черноморья,
Местечко у моря—Судак,
Наш славный военный большой санаторий
Под крымской горой Кара-даг?

Судак.

В центре города у сквера мы остановились. Здесь стоял сгоревший немецкий танк с паучьими крестами на боках и две разбитых вражеских самоходных пушки.

Когда кончились бои в Крыму, мы встретились с Героем Советского Союза лейтенантом Савельевым и узнали, что исковерканные огнем и снарядами немецкие танки и пушки в Судакe—это работа его экипажа.

Немцы намеревались из Судакa увезти остатки войск и техники морем. Они построили причалы. К Судаку подошли катеры.

Однако наши танки настигли немцев на берегу. Артиллеристы открыли огонь по катерам и два из них потопили.



Герой Советского Союза
лейтенант В. Савельев.

Из дневника

15 апреля. В Алуште с трудом нахожу домик, где размещен штаб командира корпуса генерал-майора Провалова. Генерал занят. У него — представители 4-го Украинского фронта. В Алуште войска приморцев соединились с бригадой, которая наступала от Перекопа.

Наконец, генерал освободился.

— Расскажите, товарищ генерал, о наиболее значительном событии. Для газеты.

Телефонный звонок. Генерал берет трубку, слушает и с довольной, хотя и усталой улыбкой говорит:

— Вот, собственно, самое интересное. Только что сообщили, что танкисты и передовой отряд подходят к Ялте.

Мы едем туда.

* * *

В Ялте я узнал, что нет Малышева. Он не вернется домой, не сядет с друзьями в круг.

Кто побывает сейчас на Сапун-горе, под Севастополем, у величавого обелиска, воздвигнутого в знак вечной славы павших героев, тот увидит на пьедестале памятника его имя, высеченное в граните.

Отряд Козикова

На дороге наступления я старался догнать передовой отряд майора Козикова. Я знал, что он действует вместе с танкистами.

Я нашел отряд в Ялте. Вечным свидетелем того, как привел сюда своих бойцов майор Козиков, будет сверкающий пик Ай-Петри, который вознесся над морем к небу.

Майор Козиков—высокий, яснолицый офицер с задумчивыми глазами, командир передового отряда Героя Советского Союза полковника Преображенского. Есть люди, которые не говорят о себе ни слова, но видно сразу, что перед тобой хороший, храбрый человек.

Это относится к майору Козикову. Его спокойный голос, расчетливые движения и чуть суровые черты лица фронтовика—всё располагает к нему.

Майор Козиков встает в моей памяти всегда, когда говорят: стремительность.

...Батальон Козикова был посажен на танки и одним из первых подошел к Ак-Монайским позициям. Стояла ночь. Козиков не хотел медлить. Ему донесли, что впереди противотанковый ров. Он приказал выдвинуться саперам и засыпать ров, пока не взошла луна.

Потом вызвал командира танковой группы, сказал ему:

— Сейчас будем атаковать.

— Только семь танков подошло,—ответил лейтенант-танкист и вопросительно поднял глаза на майора. Козиков молчал. Тогда лейтенант повторил, что танки еще вот-вот должны подойти, а сейчас всего семь.

— Маловато...

Козиков повернулся к танкисту:

— Разве не ясно: что сейчас сделают семь, то через полчаса не сделают двадцать.

И улыбнулся:

— Давайте будем ночевать в Феодосии...

Бойцы уже сидели на танках. Кто-то гудел, по-волжски окая:

— У кого табак есть нормальный? Эти сигары или, как их, сигареты немецкие—только что дымишь, да и то мало. Як воно? Дай-ка огоньку.

— А ты б зовсім не курив. Немець тобі зараз дасть вогоньку!

— Да я шинелью прикроюсь.

— От немецкого огонька-то?

Все смолкло, когда из уст в уста облетела отряд команда: приготовиться!

Саперы засыпали ров.

Танки перевалили его и двинулись к немецким траншеям. Еще издали автоматчики с брони заметили контуры немецких пушек и сообщили об этом танкистам. Экипажи открыли огонь и разбили одно орудие.

Тогда у немцев начался переполох. Батареи стреляли беспорядочно. Наши танки мяли траншеи. Козиков был на головной машине и руководил атакой.

Он увидел впереди вал. Там мелькали фигуры. Бегущие немцы скрывались за валом. „Танкам его не взять“,— подумал Козиков, и все услышали его голос:

— Вперед! За мной!

Бойцы соскакивали с танков и шли за командиром в атаку—на вал. Немцев били беспощадно. Они начали сдаваться. Танки уже обогнули вал, и бойцы вновь забрались на броню, чтобы преследовать врага.

За селением Арма-Эли отряд майора Козикова настиг колонну немцев и освободил более ста крымских женщин, которых немцы угоняли в плен.

...Наши люди в далеких тыловых городах горячо радовались каждой победе Красной Армии, трудились для фронта, ожидая родных, мужей, сынов-воинов. Но представьте себе сто советских человек, вырванных на фронтовой дороге из лап рабства, мучений, смерти. Как измерить их радость!

Вот старушка кинулась к майору, едва не упала на дороге—ноги опухли, болят—ее поддерживали бойцы. Она обняла майора, заплакала и твердит одно материнское слово:

— Сынок...

Потом вздохнула:

— У меня же два сына на фронте.

— Значит, тоже воюют и придут,—сказал Козиков.—

Пришли же мы!..

— Пришли, пришли...

Лицо старушки посветлело.

На рассвете, укладываясь отдохнуть, пока танкам подвезут горючее, Козиков сказал молодому танкисту, водителю машины, на которой он был в бою:

— А все-таки передвигаетесь вы тихо!..

Танкист почувствовал огорчение.

Все танкисты и сам командир группы танков полюбили майора Козикова. Но водитель танка, на котором находился Козиков, считал, что имеет на это право больше других. И больше других он затосковал, когда с майором пришлось расстаться.

Это было после того, как батальон вместе с танками разгромил немцев в Карасубазаре, где Козиков отрезал немцам все пути к отступлению и не меньше трехсот вражеских солдат и офицеров уничтожил, а две тысячи взял в плен. Потом он стремительно пошел вперед, обогнул Симферополь и не захотел остановиться у горных троп, недоступных для танков.

Молодой танкист-водитель думал о том, что, может быть, больше не придется увидеть майора. Но вышло иначе. Танкист увидел майора в Ялте.

— Как же вы оказались здесь, товарищ майор?—спросил танкист.—Даже нас обогнали!

Козиков улыбнулся и ответил, посмотрев на снежный хребет Яйлы:

— Вон оттуда.

Через Яйлу пришел отряд на южное побережье. На веревках спускали бойцы пулеметы с обрывов. Острые камни раздирали до крови ладони. Но отряд перевалил Яйлу и появился в Ялте так внезапно, что немцы приняли его за партизан. Тем более, что партизаны действительно неожиданно нападали отовсюду.

* * *

Конец Аутской улицы. Переулок Чехова—великого русского писателя. За железной оградой—белый домик. Кипарисы бросают на него длинные тени. Калитка, которую открывал когда-то Антон Павлович, дорожка к двери. На медной табличке выбиты буквы: А. П. Чехов.

Домик немного пострадал от немецкой бомбардировки. Мы увидели следы осколков на его стенах, в нескольких окнах—острые зубцы разбитых стекол.

Нас встретила радостно взволнованная сестра писателя Мария Павловна Чехова.

— Как хорошо,—сказала она,—что вы пришли, какой светлый день! Ведь они бы все разрушили, если бы вы задержались.

Но Марии Павловне не хочется говорить сегодня о горестях и лишениях, которым она стойко подвергалась, чтобы сохранить дом-музей. Обаятельная в приливе сил, она водит нас—первых посетителей музея Чехова в освобожденной Ялте—по комнатам, где жил писатель. Вот его рабочий столик, на стенах—полотна Левитана, которые принесли в ялтинский домик всю Россию с тихими рощами, кладками через чистые ручьи и таинственные заводы, синим небом, где не утихают песни птиц.

Вот телефон, такой трогательно-старомодный, но по этому телефону Чехов говорил даже с Художественным театром в Москве. Мария Павловна показывает, как он это делал, подражая его манерам и голосу.

В музей возвращалась жизнь.

В своей комнате Мария Павловна достает из укромного ей одной известного места, газету „Известия“ довоенного года с большим портретом Иосифа Виссарионовича Сталина. Она спрятала портрет в тот день, когда в Ялту пришли враги. И вот вновь на столике—портрет вождя. Тяжелое, страшное время прошло.

Нам удалось при помощи начальника гарнизона Ялты генерал-майора Горбачева и партизан разыскать техника-строителя, стекольщиков и всех, кто требовался для того, чтобы быстро привести домик Чехова в порядок...

Мария Павловна вышла проводить нас в сад, где яркие блики солнца играли даже в густых, вечно темнозеленых ветвях кипарисов.

— До свидания, Ялта!

Севастополь, мы идем!

Немцы во многом просчитались, нападая на нашу Родину. Но больше всего просчитались они в оценке советского человека.

На свете нет солдата, который мог бы вынести столько испытаний, сколько вынес советский боец. В огне, перед смертью, в разлуке с родными он, самый стойкий боец, не терял веры в победу.

Нет на свете солдата, который сражался бы за родную землю с такой любовью к ней, как советский боец. Больше всего предан он отчизне-матери.

Нет на свете солдата, который ненавидел бы врага так, как советский боец. Он не прощает зла.

Родина научила нас не бросать слова на ветер. Покидая руины Севастополя,—бессмертного города, который 250 дней сдерживал врага, оставляя родной Севастополь, где на площади, среди огня и дыма, возвышался памятник Ленину,—бойцы клялись:

— Мы вернемся!

...В мае 1944 года под Севастополем, взбираясь по крутой тропинке на высоту, с которой видно было, как дымилась скаты Сапун-горы, изрытой немецкими траншеями, и как наши танки шли в атаку на совхоз „Большевик“, утонувший в черных клубах сплошных разрывов, я встретил лейтенанта Михаила Владимиренко. На его груди среди других наград была медаль „За оборону Севастополя“. Зеленая ленточка выцвела от времени, проведенного в боях и походах.

Лейтенант Владимиренко, стройный, с красивым лицом, выражающим прямоту и упорство, смотрел на Сапун-гору. Рядом с ним стояли два бойца в касках. Он рассказывал им о Севастополе.

Два года эти места жили в его памяти. Теперь они перед ним. Как ни трудно было, он пришел.

— Здравствуй, Севастополь!

Он все помнит. Он за все отомстит.

Вон там, за Балаклавой, он оборонял Севастополь и там пережил день, когда немцы семнадцать раз атаковали

горстку его бойцов, и он дрался, как в аду, задыхаясь от гари и усталости, но не отошел ни на шаг.

В последний день обороны города, у Графской пристани, на руках лейтенанта умер красноармеец Панарин, израненный осколками бомб. Он был очень сильным: в рукопашных схватках на Сапун-горе в тот памятный день Панарин убил своим штыком тринадцать гитлеровцев. Тяжело раненый, он отчаянно боролся со смертью и умер с открытыми глазами, как будто до конца хотел видеть Севастополь.

Когда лейтенант думал о Севастополе, перед ним вставал Панарин. Казалось, все это время он говорил:

— Мы с Севастополем ждем вас.—И вот теперь лейтенант Владимиренко рассказывал бойцам своего взвода о Севастополе, о Панарине, чтобы они дрались за город так же, как Панарин, чтобы ничто не могло остановить их.

Высота, на которой стояли два бойца и лейтенант, была опоясана рвами какой-то старой, полуразрушенной крепости. Пришел приказ—цепочкой выдвигаться на исходный рубеж для того, чтобы наступать за танками. Владимиренко надел каску. Бойцы последний раз посмотрели на Сапун-гору, шурясь от ясного солнца, и прыгнули в ров.

По этому рву, на стенах которого сохранились куски бетона, лейтенант Владимиренко повел свой взвод вперед. Все испытывали радостное возбуждение.

— Ну, вот мы и идем к тебе, Севастополь.

* * *

В Севастополе на улице Каманина до войны стоял маленький белый домик. Хозяйкой в нем была бойкая девушка Марийка.

Война вдруг оставила Марийку одну: отец и брат ушли на фронт. Началась осада Севастополя.

По Каманинской все чаще стали проходить раненные. Брели они медленно, преодолевая боль, поддерживая друг друга, и Марийке очень хотелось им помочь, но она не знала, как это сделать.

Однажды у белого домика остановились двое раненых. Это были морские пехотинцы: бушлаты, посеревшие от земли, тельняшки.

Они попросили напиться, Марийка пригласила их в комнату, но они начали шутить, что опоздают на пароход, и не пошли дальше калитки.

Один пил воду жадно.

— Спасибо, девушка,—сказал он.

Другой, у которого рука с огромным мотком бинтов была подвязана к груди, пил медленно, глотками. Видимо, ему было больно. Затем он, не глядя на Марийку, проговорил:

— Так вот, значит, как придем... будут отбирать. Кто тяжело раненный, тех отправят. На борт, и—прощай, Севастополь. А кто легко... здесь будут лечить. Есть там доктор один... сухощавый, в очках, конечно. К нему и надо итти. Только... Держись крепче. Его попросить... он оставит в Севастополе. Я к нему как-нибудь... второй раз.

Они медленно пошли дальше. А Марийка была поражена. Люди, оказываются, не думали ни о каких пароходах, о том, чтобы эвакуироваться из Севастополя.

На следующий день она была в военкомате. Там на письменном заявлении комсомолки с Северной стороны с улыбкой поставили резолюцию: „Подождать“.

Но как могла ждать Марийка, когда снаряды рвались в Севастополе? И вот в морской бригаде на Мекензиевых горах появилась санитарка-доброволец Мария Толоконникова. Страшно, очень страшно было в первом бою, но она закрывала глаза и говорила себе: ты из Севастополя, и вспоминала каждый уголок родного города, который был за ее спиной.

Жаркий ветер носил над сопками черные клубы дыма, пыли, рвались снаряды. Дни и ночи Марийка не знала отдыха, и усталость выдавали только ее глаза, глубоко запрятанные под дужки бровей.

Тяжелым снарядом завалило один дзот. Немцы подошли к нему так близко, что были слышны их отвратительные крики. И все же к дзоту поползла Марийка.

— Куда ты, девушка!—крикнул ей командир батальона, а рослый украинец-пулеметчик добавил:

— Пропаде ни за що!

Он припал к пулемету и начал яростно обстреливать подступы к дзоту со стороны немцев.

Марийка ползла. Она пробралась в дзот. Она оказала помощь трем раненым и никогда не забудет, каким ласковым взглядом смотрели на нее обессиленные бойцы. За этот взгляд можно было отдать жизнь.

Марийка знала, что она не сможет днем выйти из дзота. Она решила ждать ночи, собрала оставшиеся ленты с патронами и две гранаты. Она готовилась защищать дзот.

Но моряки атаковали немцев, подобранных к дзоту, и отбросили их. Марийка сама помогла вынести раненых, а командир батальона сказал ей:

— Вот ты какая!..

В тот вечер санитарку Марию Толоконникову ранило. И когда уложили ее на носилки, тревожило ее одно — неужели надолго придется расстаться с боевой жизнью и, может быть, с Севастополем и маленьким домиком на Северной стороне...

...Уже все окраинные улицы были перерезаны траншеями. Пушки устанавливали между домами. В городе беспрестанно стреляли зенитки.

На одну окраину перешел морской батальон. В минуту затишья, какие выпадали редко, зазвенела в окопе гармошка. Хриловатый басок нескладно начал вторить ей. И вдруг все оборвалось. Гармонист вскочил:

— Ребята, Марийка идет!

Она, действительно, шла торопливо по траншее, чуть пригнувшись, и счастливая улыбка играла на ее лице и в глазах.

— Вот радость, — сказал моряк. — Как же ты объявилась? Сейчас, небось, в Севастополь попасть не шутка?

— Не шутка, — подтвердила Марийка.

Она не сказала, что и не думала уезжать из города. Она не сказала, сколько пришлось пережить, как просила сухощавого строгого доктора оставить ее в Севастополе. Она сразу узнала этого доктора, вспомнив двух раненых, которым давала пить у домика на Каманинской.

Много дней Марийка провела в батальоне. Ее ранило вновь на Корабельной стороне, когда туда прорвались немецкие танки. Начался обстрел, и Марийка прикрыла собой раненых. Снаряд разорвался рядом. Кровь залила ей лицо...

И вот она снова под Севастополем. Я увидел ее на позициях батареи, приютившейся у горы среди зеленых кустов можжевельника, нарядных, но колючих, как ежи.

Мы взобрались на гору. Вдали блеснула синяя полоска моря. Штурмовики в ослепительно-весеннем небе строили боевое кольцо над Севастополем. Марийка сложила руки на груди и замерла:

— Счастье какое!

Она его заслужила.

...Когда пушки батареи морской бригады покатались по улицам освобожденного Севастополя, рядом с одним орудием гордо шла Марийка — девушка из Севастополя. Туго

перетянута ее гимнастерка, к которой прикреплены орден Красной Звезды и медаль за оборону родного города, тяжелая санитарная сумка висит за спиной.

Шла Марийка, победившая, потому что готова была отдать жизнь за родной город. Не в этой ли доблести народа бессмертие твое, Севастополь!

Суровым бойцом стала девушка из Севастополя. А сейчас на глазах ее заблестели слезы, и никак нельзя их было удержать.

Такие слезы прощаются солдату. А тем более — девушке. Она не плакала, когда оставляла город.

* * *

— Вот и товарищ Санин, — сказали нам.

Связист-краснофлотец Санин сидел в щели, образованной трещиной скалы. Это было надежное укрытие для него и аппарата.

Санин поднял голову. Мы познакомились. Говорить пришлось громко, за скалой стояли минометы, с баханьем и шипеньем вели огонь по Сапун-горе.

В дни обороны города Санин был в Севастополе. Снарядом расщепило столб, на котором сидел связист, наводивший линию. Столб упал и придавил связиста. Но он поднялся и увидел, что несколько бойцов из расчета зенитной пушки, которая стояла рядом, были ранены.

Санин подбежал к орудию.

Вскоре пришлось стрелять. Не по самолетам — по танкам. Из зенитной пушки сержант, которому помогал Санин, поджег два вражеских танка.

— Наш Санин — живучий человек! — сказал товарищ связиста.

И впрямь. Этой ночью Санина считали погибшим. Но к рассвету он вернулся. Он ползал всю ночь под носом у немцев, разматывая кабель. Он прокладывал связь для минометчиков — вновь под Севастополем, на севастопольских высотах.

Теперь минометчики вели огонь.

А Севастополь лежал вдали, за Сапун-горой. Наш Севастополь, город нашей славы.

В руках у немцев были его руины, камни. Теперь к городу шли его люди — его душа. В тяжкие годы испытаний они жили вместе. Севастополь слышал голос своих защитников:

— Мы идем!

Сапун-гора

С высоты у селения Комары открывалась грандиозная панорама местности до самой Сапун-горы. Скаты ее покрыты дымками разрывов. Они то появляются, выпрыгивая из земли, то исчезают в жарком тумане полдня.

Что за ней, за Сапун-горой! Не видать этого с нашей стороны. Стоит Сапун-гора неумолимой преградой на пути к Севастополю, к Инкерманской долине и к херсонесским бухтам.

Необычна Сапун-гора. Нет у нее вершины—остроконечной, уходящей в небо. Сапун-гора больше похожа на гигантский вал, опоясавший крепость. Дороги, извиваясь, с трудом взбираются на этот вал. А местами они бессильны перед крутыми скатами и кончаются у подножья.

— Вот это позиция, так позиция!—говорили бойцы.

Штабные офицеры, впервые увидевшие Сапун-гору, молча подолгу смотрели на нее и, наконец, произносили:

— Да...

Сапун-гора была у немцев.

С нашей стороны—ровное поле. На него надо было выйти войскам.

Войска готовились к штурму. Надо было одним ударом сокрушить немецкую оборону на Сапун-горе и после этого взять Севастополь. Тогда с немцами в Крыму будет кончено. Это должен быть один, но сокрушающий удар. Артиллеристы на щитах орудий выводили мелом: „Дашь Севастополь!“ Ночью расчеты выползали на равнину и рыли площадки для пушек, а где-то впереди была пехота. Войска обкладывали севастопольский плацдарм немцев.

Немцы считали Сапун-гору неприступной. Это была ключевая позиция. Траншеи в несколько ярусов, по 6—8 метров на километр фронта, лучшие части в обороне. Командующий 17-й армией немцев генерал от инфантерии Альмендингер писал в своем приказе:

„Плацдарм на всю глубину сильно оборудован в инженерном отношении, и противник, где бы он ни появился, запутается в сетях наших оборонительных сооружений“.

Но наши тяжелые батареи уже были готовы обрушить страшный огонь на все немецкие укрепления. Каждое утро небо наполнялось ревом бомбардировщиков. Они появлялись над Сапун-горой с разных сторон, и тогда доносились громовые раскаты взрывов, и земля окутывалась пылью и сотрясалась.

...В 1942 году Сапун-гору обороняли защитники Севастополя. Немцы не поднялись на нее, пока наша пехота и моряки не получили приказ отойти. Слава Севастопольской обороны озарила века.

В 1944 году история словно захотела проверить и показать миру, чего стоят немцы. Теперь они обороняли Сапун-гору. Они использовали все старые укрепления. Они построили много новых. Они говорили: запутаются, не пройдут! Крута, недоступна Сапун-гора.

Но русские брали Измаил!

7 мая начался штурм Сапун-горы. Тысячи орудий грохотали разом. Пехота пошла в атаку и во многих местах уцепилась за скаты. Кое-где батальоны ворвались в первые траншеи врага. Туда тянули пушки на руках.

К вечеру бой достиг ужасного напряжения—бой за каждый метр на Сапун-горе.

...Пушка сержанта Фролова, маленькая и такая мирная на вид, когда ствол ее и замок одеты в чехлы, стояла в кустарнике. Расчет сидел и курил. Так было до тех пор, пока началась артиллерийская подготовка, и скаты Сапун-горы затянулись клубами дыма и белой пылью. Тогда расчет схватился за ляжки и выкатил пушку на позицию, заранее приготовленную в поле среди виноградника, начавшего зеленеть. Наводчик Кравченко навел орудие в дзот и дернул за шнур. Так пушка выдала себя. Немецкий дзот был разбит, но маленькая пушка, показавшаяся в 130 метрах от немецкой траншеи, взбесила врага. Снаряды неистово рвались, разбрасывая мягкие комья земли. Сержант Фролов крикнул расчету:

— В ровики!

— Теперь не дадут жизни,—сказал заряжающий Витков,—раз заметишь, то теперь не успокоятся.

Вражеский снаряд приближался со страшным звуком: чах-чах-чах. Все прижались в ровиках друг к другу. Снаряд разорвался у пушки и взметнул вверх столб земли, от которого пахло гарью. Тогда наводчик Александр Кравченко выскочил из ровика и кинулся к пушке.

Кто-то крикнул ему—куда ты!—но что ему было до этого, когда он хотел знать, цела ли пушка. И ровики вдруг опустели, все оказались у пушки, она была цела, и сержант Фролов, хрипя, закричал:

— Огонь!

Пушка стреляла.

Фролов знал, что надо бы сменить позицию, но это было сделать нелегко на виду у немцев, а главное—бой не ждал, и ведь все равно они заметят, куда расчет перетянет пушку.

...Ни Фролов, ни кто-либо другой из его расчета не бывал в Севастополе, который называют городом русской славы. Но теперь они дрались за него, как во все годы дрались русские за твердыню Черноморья.

И они шли вперед. А точнее сказать—вверх, на Сапун-гору, штурм которой продолжался два дня—7 и 8 мая.

Из зеленого кустарника пошли в атаку наши танки. Теперь немцы перенесли огонь на них. Фролов заметил немецкую противотанковую пушку, и она была разбита. Наводчик Кравченко улыбнулся и приподнялся над щитом, чтобы посмотреть, как он ловко попал в немецкую пушку, и в эту секунду осколок ударил его в плечо. Он вскрикнул и присел, глотая воздух, не сумев вздохнуть полной грудью от неожиданности и боли. Товарищи приподняли его и перенесли за щит, кто-то разорвал гимнастерку, а другой сказал:

— Тише, ну, что ты, как медведь! Тише.

— Где санитары? Наверно, командир взвода видел.

Санитары пробрались к пушке. Кравченко унесли. А потом пушку сквозь огонь потянули по Сапун-горе. Пехотинцы помогали расчету. Тянуть пушку было трудно.

— Эту Сапун-гору на всю жизнь запомнишь. Может, у кого есть хоть глоток воды?

На Сапун-горе окопались. Бой шумел вокруг, хотя уже темнело. Одна рота вырвалась на гребень, и там взвился красный флаг. Немцы сопротивлялись отчаянно.

...Месяц спустя после этих дней штурма я видел пушку сержанта Фролова. Три пробойны зияли в ее щите. На замке, лафете, колесах было всего одиннадцать ссадин от осколков вражеских снарядов.

В ту ночь на Сапун-горе замковый Козаченко, самый веселый паренек в расчете, сказал, осмотрев пушку:

— Эх, покарябало как! Уберегла кого-то из нас, роденькая.

Он насчитал на пушке три свежих шрама.

Все остальные ссадины появились во второй день штурма. С утра немцы пошли в контратаки. Пушка помогала пехоте отбиваться. Сначала ранило подносчика Сиротского, он схватился за ногу и виновато посмотрел на бойцов:

— Задело...

Потом уложили в ровик раненого Козаченко. Теперь у пушки осталось двое.

Козаченко старался не стонать. В боку пекло, голова наливалась тяжестью, а то вдруг все тело становилось невесомым, кончики пальцев леденели, и ему казалось, что это конец.

Но вскоре он снова открывал глаза и прислушивался. Пушка стреляла. Тогда он улыбался. Вот опять этот звук: чах-чах-чах. Все равно. Козаченко закрыл глаза.

Пушка стреляла.

Когда она один раз долго молчала, Козаченко встревожился и начал стонать. А мысли неслись в голове: „Нет, теперь, наверно наши, пошли вперед. Теперь Сапун-гору уже можно считать взятой. Ведь как мы тащили сюда пушку, и как мы это быстро сделали. Все тянули за лямки, а я толкал пушку в щит и еще нес камень, подкладывал его под колесо, чтобы пушка не скатывалась вниз, когда все выбивались из сил. Где я взял этот камень? Это командир взвода сказал: не забудьте про камень. Вот она какая, Сапун-гора! Ничего в ней нет страшного... А вдруг меня здесь забудут! Санитары перевязали рану и ушли. Они сказали: сейчас вынести никак нельзя. Сейчас мы только перевязываем. Я не дам себя никуда унести отсюда!“

Снаряд опять разорвался рядом. Где-то застучали пулеметы.

„Нет, теперь немцам не взять назад ни клочка Сапун-горы! Почему вы не стреляете, Фролов? Ведь, наверно, кругом ракеты—пехота просит огня“.

Когда сержант Фролов с заряжающим поднесли к пушке снаряды, они увидели, что Козаченко был у замка. Как он выполз из ровика? Он прошептал им:

— Давайте скорее. Видите, наши снова пошли в атаку...

Они вели огонь втроем, пока командир взвода, находившийся впереди с командиром стрелковой роты, не пригласил к пушке новых бойцов; потом, когда взяли всю Сапун-гору, подъехала упряжка, а Козаченко уже везли в то время в госпиталь, который размещался где-то возле Байдар. Там была тишина.

ВНИМОЕ ОТЧЕТО

...Над Сапун-горой долго висела белая пыль. Немцы бежали, боясь быть отрезанными, когда войска гвардии генерал-лейтенанта Мельника взяли высоту Горная, примыкающую к Сапун-горе у самого моря. Это был решающий момент боя. Все обернулось неожиданно для немцев. Замысел генерала удался. В мыслях он благодарил бойцов.

Сапун-гора опозорила немцев перед историей. Вся их оборона развалилась, а лучшие части побежали. Генерал Альмендингер не смог удержать своих солдат, как нельзя поймать и удержать все листья, когда их гонит ветер.

Кстати, Альмендингер был уже вторым командующим крымской группировки немцев. Его предшественник генерал Енеке был снят Гитлером, потому что не выполнил приказа: „Ни шагу назад. Во что бы то ни стало удержать Крым“. Мы отбирали Крым у немцев, их банда развалилась. Альмендингер удрал в Германию, оставив войскам приказ: „Никому из нас не должна притти в голову даже мысль об отходе с этих позиций“.

Третий и последний командующий генерал Бэме жил только этой мыслью. Он хотел удрать. Но его поймали в плен на мысе Херсонес.

Да, немцев опрокинул ветер. Ветер штурма. Мне хочется сказать еще несколько слов о пехоте, которая брала Сапун-гору.

Есть у подножья Сапун-горы небольшой совхоз. Он был, вернее. Сейчас там только развалины белых домиков.

Немцы превратили совхоз в опорный пункт, очень сильный, с пушками и пулеметами.

У этого совхоза наша пехота залегла. Бесперывный пулеметный огонь встретил ее. Сколько пулеметов уцелело после того, как на немецкие окопы, на домики обрушила огонь наша артиллерия? Никто не знал этого и не мог сказать.

А надо было подняться в атаку. И первым поднялся старший сержант Владимир Папидзе. Он поднялся с возгласом:

— За Родину, за Сталина, ура!

Папидзе достиг развалин совхоза, и из автомата застрелил несколько солдат и офицера, а потом выдернул из-за пояса красный флаг.

Красный флаг в одной руке, в другой—граната. Этой гранатой он уничтожил пулемет и четырех немцев, укryвшихся в воронке. Красный флаг взвился над развалинами белого домика.

Папидзе был все время впереди, и его не задела ни осколки, ни пули. Он еще подорвал гранатой немецкий взвод на Сапун-горе. Как просто об этом написать, но как тяжело сделать!

Почему он был впереди, Владимир Папидзе, человек, которому уже за сорок лет—даже в бровях его ниточки седины?

...Владимир Папидзе был учителем в Кведо-Усахело, откуда в солнечные дни видны снежные зубцы кавказского хребта. Он преподавал детям историю, географию и литературу. Любить и защищать Родину учил он детей словами бессмертного Шота Руставели:

„Лучше смерть, но смерть со славой,
Чем бесславных дней позор“.

Вот почему старший сержант Владимир Папидзе в борьбе за родину был только впереди.

* * *

9 мая войска вошли в Севастополь. Катилась по мостовой, подпрыгивая, маленькая пушка сержанта Фролова, штурмовавшая Сапун-гору.

Я видел ее месяц спустя, когда собрался весь расчет—и Кравченко, и Козаченко. Им вручали ордена. Бойцы весело улыбались, полковник жал им руки и сказал в своей короткой речи:

— Слава вам, советские артиллеристы!

Уже месяц немцев не было в Крыму. Месяц прошел с того дня, как в Севастополь, ликующий, освобожденный вместе со своей частью вступил Владимир Папидзе, в запыленной каске, с автоматом на груди.

Он не знал еще, что подвиги его будут отмечены Золотой Звездой Героя Советского Союза.

Смушаясь от приветствий, он шел по улицам освобожденного города-героя.

Два друга

Кончается мой крымский блокнот.

На последних листках его—записи о двух друзьях, двух Героях Советского Союза—пулеметчиках Быкове и Лаптеве.

Перед штурмом Сапун-горы Юрий Быков написал письмо Лаптеву, которого ранило под Керчью на высоте 133,3. Он все еще в госпитале, думал Быков.

Быков отправил письмо другу только через пять дней, после боя на Херсонесе, последнего боя в Крыму.

Тогда я и встретился с ним.

Сержант Быков—герой-пулеметчик. Какой он простой и сильный! Чубчик жестких волос, решительный взгляд. Он сержант, но командовал взводом после того, как отличился в боях на Тамани и в Крыму, и его наградили орденом Красного Знамени и медалью „За отвагу“.

Сержант Быков перенес много, он был в атаках и так близко от смерти—один против трехсот немцев, под Керчью. После боя на мысе Херсонес он рассказал мне о том, как высаживался с десантом в Крым, о высоте 133,3 и о Косте Лаптеве, своем друге.

Они крепко сдружились на крохотном плацдарме под Керчью. Быков никогда не бывал в Крыму, и Лаптев увлек товарища рассказами о Крыме, о Севастополе, который он оборонял. Он очень хотел вернуться в Севастополь. Он часто вспоминал дзот, в котором сидели три бойца-пехотинца (он был одним из них) и каждый день отбивали немецкие атаки.

В дзоте был патефон и к нему одна пластинка: „Песня о Родине“. Бойцы не жалели на немцев патронов, в передышку делили паек, а кто-нибудь говорил:

— Заведи-ка песню!

Старый патефон, который бог весть как попал в дзот, звенел, и иголки точили на диске.

Быков стал мечтать о Севастополе. Ему хотелось освободить этот город и землю, в которой был дзот, и в нем

звучала „Песня о Родине“. Быкову казалось иногда, что Лаптев знает что-то большее, чем он, хотя он был лучшим пулеметчиком, и Лаптев у него учился. Это большее: боевой путь—от Севастополя и вновь к нему через керченский десант.

Бойцы-десантники каждый день вели бои. Тогда они шли за высоту 133,3, которая угрюмо возвышается над полем, изрытым воронками. Керчь была в руках немцев, они напрягали усилия, чтобы удержать ее и сбросить десант в море.

Быков поддерживал атаку высоты 133,3.

Он перебежал со своим „Максимом“ вперед и установил его в траншее, в которую одной гусеницей уткнулся полубогоревший немецкий танк. Потом Быков послал двух своих бойцов за патронами. Он остался один, с „Максимом“ и шестью коробками пулеметных лент. Он не знал, что сейчас будет немецкая контратака. Никто еще не знал этого.

Немцы показались густой цепью. И Быков вдруг понял, что начинается самый серьезный бой в его жизни.

„Максим“ Быкова заработал, и первая цепь немцев залегла. Начали рваться немецкие мины—около самой траншеи. От прямых попаданий она кое-где обвалилась.

Быков с трудом пробрался в другой край траншеи, и снова немцы залегли под ливнем стрекотавших пуль, едва поднявшись. Тогда показалась вторая цепь. Но Быков не подпустил ее к первой, которая лежала.

Быков стрелял, а немцы теперь перебирались ползком, и Быков внезапно оборвал очередь, когда увидел, что у него осталось три ленты.

Он ждал, что немцы поднимутся. Но опять начали рваться мины. Все чаще и чаще. Разрыв—и тонко поют осколки.



Герой Советского Союза
сержант Ю. Быков.

В это время Быков свернул самокрутку и закурил. Он курил и прижимался к траншее, когда выла и шипела мина, и поглядывал на немцев, которые ждали конца минометного налета.

Быков знал, что к нему в траншею никто не сможет пробраться. К нему действительно посылали трех бойцов с патронами, но они не прошли.

Где сейчас Лаптев? Он был в резерве командира батальона. Где он сейчас?

Ну, вот. Обе цепи, больше трехсот немцев, поднялись. Идите, зеленые гадюки! Строчите из автоматов! Идите ближе. Быков припал к „Максиму“ и ждал. Он хотел, чтобы они перестали его бояться. Он хотел, чтобы они совсем перестали его бояться и подошли ближе. Тогда он их встретит. Вот они уже выпрямились. Они бегут. Что же, Быков, ты совсем не будешь стрелять!

Огонь—неожиданно, как грозовой ливень. „Максим“, теперь твое слово! Мы не пропустим их.

Быков все время сохранял хладнокровие. Он не подпустил немцев на бросок гранаты. Страшным огнем в упор он разорвал их цепь на клочки, немцы начали падать—мертвые, другие повернули и кинулись бежать, но тоже падали, им негде было укрыться, Быков расстреливал их, и какой-то немецкий офицер кричал и кричал, собирая уцелевших солдат.

Потом Быков перетянул пулемет на старое место, где начал бой. Траншейка была короткая—всего двадцать метров, и он сделал это скорее по привычке.

Он снова закурил. Капельки пота на лбу стали теплыми. Быков много курит после этого дня.

...Как они сидели в траншее с Лаптевым, накрывшись плащ-палаткой и разговаривали, когда это было? Всего два дня назад. Ночью шел дождь, и они накрылись плащ-палаткой вдвоем и говорили о том, что оба пойдут учиться и станут командирами.

— Еще повоюем, пожалуй, лейтенантами?

— Наверно. Обязательно пулеметчиками. А домой не хочется?

— В отпуск хорошо бы после Крыма. Только далеко. А учиться на пулеметчиков, больше никуда.

— Запахни-ка тот конец, капает за воротник мне, Костя.

Как хорошо было под плащ-палаткой, и дождь моросил. ...Когда немцы пошли четвертый раз в контратаку, Быков зарядил пулемет последней лентой. Но вот и в ней

патроны кончаются, они ползут, тускло поблескивая гильзами, и немецкая пуля взвизгнула и пробила кожух. Вода струйкой потекла по его ребрам.

А немцы идут...

Когда немецкая пуля пробила кожух, Быков услышал, что кто-то еще открыл огонь по немцам сбоку. Каким родным показался ему привычный и сильный стук „Максима“!

Это стрелял Лаптев. Он пробрался на сопку сбоку и косил теперь немцев. На сопке разрывались снаряды и мины, но Лаптев не замечал ничего, он только видел, какая густая цепь немцев шла на Быкова.

В тот день два пулеметчика истребили больше двухсот вражеских солдат, которые отчаянно рвались вперед.

В каменоломнях Аджи-Мушкая, где была землянка командира батальона, Быков и Лаптев встретились.

— К тебе никто не мог пробраться, — сказал Лаптев, — мне удалось. Я расчет не взял, а один пробрался с пулеметом.

Потом они ушли вместе по узкой и темной штольне, обнявшись за плечи, и спали ночь и день, который им отвели на отдых.

Так они дрались на Керченском полуострове, и так Лаптев спас жизнь другу.

— Досадно, что его нет сейчас с нами, — сказал мне Быков после боя на Херсонесе. — Он, конечно, знает, что Севастополь взят. Теперь добавлю к письму, что и я был здесь. Ему будет приятно. Когда его ранило на высоте 133,3, он думал, что не выживет. Вздохнул так. Севастополь, говорит, я не дождался.

...На курсах младших лейтенантов в группе курсантов, уезжавших в Нормальное училище на Кавказ, я увидел Героя Советского Союза. Это был очень красивый сержант, с черными, гладко зачесанными волосами. У него был скрученный косой рубец на шее от пулевой раны.

— Как ваша фамилия? — спросил я.

— Сержант Константин Лаптев.

Ну, конечно, мы разговорились о Быкове! И Лаптев рассказал мне, что когда его ранило на высоте 133,3, то вынес его Быков. Ранил Лаптева немецкий снайпер, а Быков не испугался, немецкий снайпер пришел в бешенство, но Быков все же приполз к Лаптеву, и перевязал его, и сам вынес в укрытие, и еще раз перевязал в окопе. Так в разное время они спасли жизнь друг другу.

Они очень крепко дружили. Так жила вся рота. Ты, Родина, необозримая, могучая — с полями бескрайними, с шум-

ными лесами, горными вершинами, с широкими реками, над которыми небо залито солнцем или синее сквозь ветви, сделала бойцов братьями.

Когда Быков в Указе о присвоении ему звания Героя Советского Союза нашел имя и Константина Лаптева, ему показалось, что сам Сталин все время следил за ними, за тем, как они дрались, изгоняя немецких захватчиков из Крыма.

Еще одна запись в моем блокноте: Быков сделал последний выстрел на мысе Херсонес. Он оставил пулемет у расчета, а сам схватил винтовку и побежал к камням, на которые набегали волны, разбиваясь в брызги. Он убил немецкого офицера, и тот упал в воду.

Быков увидел лодку. Она качалась на волнах. В ней был груз и три немца. Многие немцы, загнанные в воду, поднимали руки и выходили на берег. А эти трое в лодке отчаянно гребли, удаляясь от мыса.

Быков лег за камень и прицелился. Он сделал три выстрела—три пробоины в лодке. Немцы закричали. Лодка наклонилась, и потом ее захлестнула волна.

Сержант Юрий Быков присел на камень на берегу мыса Херсонес. Волны Черного моря бежали к его ногам. Лодка и немцы не показались на поверхности после третьего выстрела. Наступила тишина.

Крымская земля здесь кончалась, и стало ясно, что весь Крым очищен от немецких захватчиков.

Это было 12 мая 1944 года.



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Десант	5
Я вижу родной Севастополь	7
Галинка	12
Бойцы капитана Мирошника	15
Высота Тарасенко	19
Три гвардейца	24
Непокоренные	30
Анатолий Пушкаренко	34
Первые пушки	38
На „Крымском пятачке“	43
Это были будни	47
Летчик Камозин	54
Подвиг Павла Костенко	58
Штурм	61
От Керчи до мыса Херсонес	65
11 апреля	69
По Южному берегу	74
Отряд Козикова	79
Севастополь, мы идем	83
Сапун-гора	88
Два друга	94

